

ПРИДУРКИ

Рассказ

Болезнь обычно сначала маленькая, как воробей, влетающий в открытую форточку.

Бьется это крошечное в новом пугающем объеме и хочет выпорхнуть вон.

«Кыш, – ему говоришь, – кыш». И твои домашние тоже суеются усердно, машут руками, распахивают окно настежь.

И он-оно-она выпархивает, исчезает.

Но ты вдруг ощущаешь пространство, объем своей жизни похолодевшим и пустым настолько, что не находишь в нем себя самого.

И твоя виноватая улыбка говорит об этом.

Не болезнь улетела – ты вдруг исчез, вместо тебя в тебе – в единственном доме твоём – поселился кто-то новый, и ему предстоит жить новую жизнь.

Таков и инсульт.

В старых биографиях часто писали: апоплексический удар. Так же часто, как «умер в нищете и забвении».

Больницы все больше белые, отгороженные от остального мира, а их окна, даже если они большие, глядят бойницами. Наша же – как аквариум из синезеленого стекла. Поток действительности катит мимо в три полосы с такой же скоростью и напором, как и обратно, и тоже трехполосно. Стоящему у окна делается непонятно, зачем с остервенением надо переть куда-то туда, если оттуда мчит поток жаждущих поскорее покинуть то место.

Некоторые едущие туда и оттуда реагируют на наш зелено-синий дворец скорби. Одни дают газку, другие, наоборот, подтормаживают. Вспоминается им, мимо-едушим, свое бытие-лежание здесь или беганье с пакетами в палату.

И они на мгновение, стоп-кадром, видят нас всех разом. И дежурненьких ангелов, дремлющих, пока не случилась рутинная беда.

Как будто обстрел какой или бой: суета, громкие шепоты и тихие крики. Носилки, струйка из шприца. Увозят. И снова тихо. Соседи по палате делают вид, что ничего не слышат, что спят себе, и всё тут. Таков больничный этикет.

Народ мы весёлый. Часть поклажи, положенной человеку на его житейскую дорожку делом, долгом, семьей, самим собой и государством, можно выложить из рюкзака и отревизовать со знанием путника и бывалого человека.

Вытряхнуть лишнее, какового оказывается немало.

Взвесить нужное, главное – самое тяжелое все-таки.

И желанные пустяки, которые то ли кажутся, то ли в самом деле смысл жизни.

Зимняя рыбалка с пешней и фанерным коробом для рыбы, который ни разу за тридцать или уж поболее сезонов не бывал полон.

Или поездка в Паттайю, такую развратную и такую теплую... уже и путевка взята как раз на новогодние праздники под пальмами. А теперь не то что на будущей неделе, когда и путевка сгорит, но и – гори оно все огнем.

Или диссертация – куча текста, написанного по-старинному – от руки. И поговорено-переговорено, и очередь в ВАКе занята, как вот приехали – вылезай. Конечно, тема и тебя-то не сильно грела, а прочим и даром не нужна, но ведь годы, годы ухлопаны, лучшие годы. Ну, что лучшие – это только так говорить принято.

Вот на кандидатскую ушли действительно лучшие – пара лет после женитьбы. Но годы все равно уходят, летя, пишешь ты ученые труды или только пиво пьешь под Спартак. Писал сидя на унитазах, пристроив перед собой самодельный пюпитр-треножник. Больше было негде.

И много чего еще.

Остатки молодости и детства по углам твоего маленького, но и безмерного жизненного пространства, как иголки с новогодней елки и летний тополиный пух, которые находят друг друга где-нибудь под диваном и сваливаются в маленькие комочки.

Не знаю, как другие болячки, а инсульт штука полезная для оценки «пройденных дорог», проветривания мозгов и ревизии последних. Как некий вихрь по ту сторону вихров, проходится он во тьме сознания и делает delite ненужному, а нужное и важное сортирует.

Перезагрузка.

В больнице совсем неплохо. Мы тут, как на полянке, на привале. Недуг очертил малый круг возможного среди всего невозможного. И вот сидим мы, блаженные придурки.

И каждый думает о своем.

В такие растекшиеся мгновенья человек слышит в себе как бы гул затухающий.

Это он перестает бороться –

а) с самим собой, чудовищем самым опасным и затаенным. Да и лень уже трепыхаться. Поздняк метаться. И ты не суетишься, и в этом твое достоинство, и не мелочишься и не орешь. А то, что башмаки не зашнурованы и ширинку опять забыл застегнуть – что ж, учишься заново;

б)...с миром людей, своим честолюбием и правилами, которые ты по жизни берешь на себя как обязательства. Чтобы быть застегнутым на все пуговицы, надо следить, чтобы они были и не болтались на нитке. Это надоедает. Твое чистоплотовое терпит урон, походка нетверда. Ты выбрасываешь белый флаг – сероватый, если взглядеться, вроде казенной простыни.

в)...с временем, потому что никто ничего не поделает с миновавшим. Никто. Ничего. Но и лучшего и дорогого у тебя не украдут. И подумав об этом, ты усмехаешься в полутьму светящей бессонницы с вызовом. И даже показываешь язык – интересно, кому?

И засыпаешь.

А просыпаешься с неясной тревогой: ночная твоя опись неполна, и подсознание, как монах в келье, корпело над ней, пока ты спал. Ах, вот что... Список потерь неполон. Будет полным, когда помрешь.

Пока ты, мил человек, ешь кусок хлеба, а не пьешь его, изминая остатками зубов и деснами до младенческой кашицы, – радуйся.

Пока ты можешь сам ходить куда надо и мыться сам, новой вехотке взамен истершейся – радуйся, три погорбатевшую спину и опустевшую мошонку. Это все ладно и хорошо.

Пока ходишь ногами и берешь руками – радуйся.

И будь доволен.

А в тот солнечный, огненный от света день, когда тебя заштормило и потолок стал стеной на тебя надвигаться, ты подумал: а Стикс-то, наверное, вовсе не ре-

ка, а море. Но ведь было в тот день пасмурно, так откуда столько света? И почему коридор круглый и ведет сам в себя...

Инсульты, как две Тамары из песни, ходят парой.

Довольно равнодушно подумал: «Я отчаливаю».

Но тут набегали люди в белом, меня изловили широким объятием и повалили на каталку, и быстро-быстро повезли в реанимацию. Странное словцо, если подумать. Жизнь – это, выходит, анимация, и когда ей почти кранты и конец фильма, то тебе, твоей брэнности делают РЕ. Серия выдохлась настолько, что и сценарист устал, но ты еще покушаешь вволю таблеток. Неумеха медсестра поищет иглой твою бледную вену.

И ты, придурок, если не превратился в полного идиота, еще поскрипишь.

Тебя с рокового этажа-рубежа переводят обратно на свой, откуда взяли. Друзья-придурики почти все лежат, как лежали, добавилось сколько-то новеньких. После обеда как раз нам развлечение – придут новые студентки-практикантки. Будут нас экзаменовать. Эта сценка – чуть ниже. Сперва несколько портретов пером, с кем леживал рядом, сидел у телевизора или курил запрещенную сигаретку.

Петрович любил рыбалку, и не простую – с удочкой, теплом рассвета, комарином, а зимнюю, со стужей пронизывающей, верным тулупом поверх бушлата, а поверх тулупа еще брезентуха. Если бы Петрович знал это слово, он бы сказал – экстремальную. Вот такую рыбалку любил Петрович уже тридцать лет так страстно, что забывал порой выпить взятую с собой бутылку.

Все останавливалось в нем, как только он наладит пешнюю две-три лунки, окунет в них удочки и закурит. Кристаллизованное время делалось как лед реки, привычная ругань со всем миром и поселковыми «фуплетами» улетала прочь, становилось хорошо и покойно.

Река в местах Петровичева обитания огромна, а на большом просторе всегда почти – ветер. Вот и сейчас он завивался вокруг огромных, как танки Первой империалистической, пимов, усиленных калошами. Руки защищает верный друг Шарька, с которого по случаю возраста сняли шкуру и пошили нашему рыбаю меховые рукавицы. Петрович часто их и на ночь надевает, когда ломит кости «рматизм» – тяжкая плата за рыбацкие радости, но без них и жизнь – не жизнь, а одно расстройство.

Жаль, на шапку не хватало псины.

Рыбак наливает и выпивает.

Водочка вдохновенно течет от пуза к сердцу, залезает как, глупый ласковый щенок, в приятные воспоминания и будит их. Самое лучшее – как он свою бабу уговорил замуж за него пойти. Девка она была видная, да и сейчас ничего. И конечно, знала она про издетскую страсть Ивана нашего к рыбалке. А это худо дело. У нее в семье отец, дядька и старший братец-придурик тоже были рыбаи на всю голову и пьяницы горькие. И поэтому Светка ни в какую, хотя Иван ей, в целом-то, нравился. Даже припечатала широкую Иванову спину к нагорной березе и спросила властно:

– Будешь рыбалкой маяться? Тогда не пойду.

Ваня наш трусливо загибал про «иногда» и «в отпуске», но было слышно, что врет сам себе у березы своей судьбе-невесте. Здесь ввали про неусыпные чувства и прочее, но ввали искренне, а это враньем не считается. В таком вранье самая правда.

Здесь вершились многие главные дела в бывшем старинном селе, которое по случаю новой фабрики именуется поселком, а было селом с ярмаркой.

И могло не сладиться дело, которое нашего героя загло здорово. Трудно не гореть, когда милашка твоя через один огород от твоего окучивает картошку или

полет овощ, и попка ее как нарочно поворачивается к тебе навроде подсолнуха. И нет тут игры, потому как ты, подлец, спрятался в райских куцах конопля, крапивы и хрена на малой возвышенности огородного погребка и смотришь.

И тут вдруг случись это. Перед Новым годом пошел Ваня один на рыбалку и насверлил лунки как раз в нужном месте. Окуневая стая – летом их не бывает таких, а зимой они зачем-то сбиваются плотно и так стоят. И кидаются на движение – а это наш Иван дёргает их одного за другим.

Петрович наливает себе плепорцию.

Надергал он кучу приличных окушков, накопивших на зиму жирку, и только тут подумал: а как он это счастье до дому доставит? Делать нечего, снял штаны, завязал леской штанины и набил туда заледеневший улов.

Тяжким хомутом висела ноша на нем, когда Ваня шел по селу до дому. И догадался наш жених в таком виде – в одних кальсонах то есть, но с богатым уловом зато – зарулить на Светланин двор. И без сил пал у дверей. И двери открылись, и пьяный тестев голос был:

– Светка, иди, мужик твой пришел.

Леночке сделалось все труднее добывать себе новых мужей. Самое обидное – кривая пошла не круто, но вниз. Первый был замминистр, и стал-таки министром, но уже потом, без нее... Двое следующих были большими людьми, но все же калибром поменьше. Один член коллегии, другой что-то вроде того, и тоже потом/после почти вышагнули в замы, но застопорилось в последний момент. То есть и их кривая тоже не того, не круто, по нисходящей... или это ты задала такую линию... тут Леночка улыбнулась своей знаменитой в кругах мгновенной улыбкой, но тотчас пригасила ее. Губки ее точеные чуть раскрывались, как бы желая выдать некую, наверное, прелестную, или «ужасную» тайну, или же скушать что-то маленькое и нежное, скажем, мятную пастилку – и тут же смыкались, но неплотно, и уголки, где у нее теперь две махонькие морщинки, закруглялись, как у кошечки.

И еще у Леночки было одно счастливое и важное свойство, совершенно отприродное (то есть честное) сродни гипнотизёрству врожденному.

Леночка всегда видела себя со стороны. Так, говорят, видят себя умирающие. А она, еще ого как живая, всегда видела себя откуда-то из-под потолка, как сидящие на невысокой галерке зрят партер. Впрочем, как сказано в одном партийном анекдоте, нам снится, что мы в президиуме, просыпаемся, а мы в президиуме, то бишь в партере и есть.

Маленький изящный театр, куда не продают билетов, а есть только абонемент, который тоже не продают в окошечке, но распределяют, совершенно на ценовский манер, среди совершенно своих, в каковое число надо просачиваться постепенно – или уж махом врубаться. Леночка сейчас в режиме «взгляд со стороны». Может, как видеокамера, включаться и офф. Это помогало ей в жизни здорово. Она привыкла сама себе как бы шептать на ушко: держи спину, не забалтывайся, уже косяя, будя.

И другое всякое, не столь важное или еще более решающее по жизни. И была ее спина всегда прямой, болтовня порционной, с прицелом на дальнейшее, питание – частью сценария, тогда как другие ее врагини-подруги разбалтывали секреты мужей, а те – их скучные тайны, и напивались тупо и глупо, и пуза эти выпяченные, боже ж ты мой... Неспешный сбор гостей – именно так тут мы зовемся. То есть не зрителей – не зрители мы, но участники. И даже режиссеры-актеры. Творцы. И их спутницы, мастерицы неких сценариев жизни, точней будет сказать – партитур. И так, сбор гостей нетороплив, нешумен. Никто не срывает в нетерпении – когда ж начнут, не подхлопывает занавесу, изредка являющему то локоть чей-то, то ногу, то из-за него слышен вульгарный топот каблуков. Им не скучно в ожидании – кстати, чего? – сегодня, кажется, то есть совершенно четко – оперы.

Маленькой такой – по составу – оперы, стильной, говорят, ужасно, стёбной, говорят, на грани фола.

Будем посмотреть.

А должен был по программе быть бенефис юмориста нашего знаменитого. Ну, где бенефис, там годы-года, ишемия и прочая бяка. Юморист не на шутку слег, конечно, в ЦеКаБэ, и его заменили на певучую трагедию стёбную, с матерком, говорят. Из древнеримской жизни и всякие развраты. Впрочем, как возглашал один знакомый Леночкин поэт, матюжок – как уютюжок: им можно ушибить, а можно и погладить.

Кстати, юморист. Никуда он не слег, наоборот – срубил гастроль в Канаду и улетел покосить зелени. Это Леночка кое-где, на процедурах, поймала краем уха, всегда чуткого, что твой локатор.

Левое Леночкино ушко, а также локоток и левый же краешек уст контролируют ситуацию. Она состоит из тьмы всякой важной корысти, ее же вмещают в себя два существа-вещества. То есть ее нынешний законный и его, надо надеяться, свежееобразуемый друган.

Супруг Леночкин строит, и весьма круто, но не так, чтобы ввысь и у всех на виду. К сожалению, встречая кого-нибудь важного с прилета, нельзя небрежно бросить пальчиком в окно авто, летящее мимо этого, хорошо бы многоэтажного – мол, мой нагородил. И для соуса подпустить фронды насчет исчезающей старины. А Леночкин супруг делает это, как он сам говорит, *underground*, и даже непонятно что. То есть она всегда лишь слегка понимала, что там творят-руководят и Костя, и, слава богу, Корнелий Иванович, и Додик.

А тут, *на старости лет*», слегка проснулся интерес к тому, что там, за ее кругом, но Леночка натолкнулась на твердоватое, кажется, профессиональное, помалчивание и уводы в сторону. Однако же она стала потихоньку понимать, что муженек ничего такого и не возводит и не закапывает в свою подземь, а только курирует, визирует, согласовывает.

Подготавливает и корректирует.

То есть и это делает кто-то, другие, кого она и не видела никогда, не знала даже, как выглядит то учреждение, где всё у него ровно с девяти и вершится. У него Право Первой Подписи, как в баснословных старинах право первой ночи, и оно дорогого стоит.

Сколько сейчас – Леночка не знает, но надеется и даже понимает по некоторым признакам, что цена растёт. Иначе зачем бы он держал на письменном столе чудесные журнальчики про дачи Италии и интерьеры в английском стиле.

Почти друган Сосо подсажен к ней – опять же по законам не зрелища, а застолья. Или Леночка подсадной уткой? Какая ж разница. Перемены слагаемых. Главное и греющее Леночкину душу, что рокоток их беседы Леночке словарно сделался совсем непонятен. По интуиции, двум-трем отлетам обрубленных фразочек Леночка понимает, что дело у них не мелкое и многократное. Госзаказ. Леночкино альтер эго приказывает лицу светски скучать, расслабиться, ловить взгляды знакомых. Как бумажные самолетики, улыбки и кивки порхают по залу, а Леночка чуть поздновато включилась в игру. Прокол. Психологов и душеведов тут полно, могут довычислить, зачем это Леночкин муж с его ПрПеПо и друган с его мифической мощной как полуобернулись друг к дружке, как две ладони или створки раковины, так и застыли, только губы чуть шевелятся. Что там за жемчужина такая выращивается в этой раковине? Леночкин муж таких тонкостей не понимает. Душа подсказывает, да и диспозиция обязывает, что почти-друган, как истинный грузин, должен быть потоньше кожей, и он ей поможет. Деловые разговоры прерывать нельзя.

Но ситуация требует.

И Леночкин театральный кошелек летит на пол с ее колен.

Рассчитано, что пади он на ковровое мягчайшее покрытие, услышано не будет. Потому кошелек с мобильником и ключами попадает на могучую туфлю Сосо. Богатырский разворот корпуса резковат, но на исходе дуги Друган уже поймал нить и надал светской плавности. Молодец. Сколь-то лет зоны, сборная но вольной, кажется, борьбе – все нипочем, когда природа. Леночка дает ему опередить себя самую чуть, так что руки и плечи их касаются друг друга. Крыло леночкиной французской прически, слегка прокинутое ею влево, щекочет иссиня бритую щеку Другана Сосо. Так. Эритроциты грузиновы получили порцию ферментов, тестостерон забродит как надо. Следует подготовиться к атакам другановых воловьих очей и кавказского красноречия. Леночке все это лишние хлопоты, но – такая у нее работа. Главное, статика разбита, парочка фраз о предвкушаемом святом искусстве фиксируют паузу. Муженьку улыбка, словцо, прямой взгляд в зрачки – и он понял. Так не всегда. А то уже лоб сморщился поперек, что у него знаменует досаду. Погасил вовремя – получай в зачет очко.

А тут и шампанское понесли от заведения – забить время.

А тут и Vip пришел в сером костюмчике неизменном, сама скромность, как и положено миллиардеру, с красавицей женой. Вот для кого резинили, а не декорации достраивали.

А тут и золотой бархат раскрылся, как плащ уличной проститутки, и – грянуло. Древний Рим оказался весь в арматуре и трубах, как нефтеперегонный завод. На пьедестале, явно намекающей на трибуну, стоял голый мужик с копьем и венком на кудрях. Чуть шевельнулся – это, все поняли, режиссерская фишка для тупых, чтобы не подумали, будто манекен. Леночка с трудом проглотила смешок – не от фигуры, конечно, мало она геев видела, – а от мысли, что ей захотелось увести двух взрослых дядек в буфет, как мамаша уводит детей с гулянья, завидев собачью случку. Далее будет все круче и круче.

Леночка с тоской заглянула в режиссерову душу, словно бы пролистала все его фишки-находки.

Позолоченные фаллосы пидоров, переодевания и нефтянка сквозь его поганую призму «нового смотрения» дунули противным ветром на лепестки ее врожденно-вкуса. А вкус отчасти заменяет совесть.

И вдруг люстра снова засветилась, но стала бить прицельно, как прожектор в беглеца, и уже не убежишь.

«Последний акт?» – подумала Лена. И, закрывая свои серые очи, улыбнулась.

Инфаркты с инсультами устали быть чисто мужскими болезнями.

В июле, в августе как рано ни встанешь, всё поздно. На кухне, на столе и подоконнике уже наискось брошены жаркие оладьи солнца. В отпуск вы нынче ни ни – пошла карта, клев и жор. То есть попер клиент, прошлые лета дремавший, как карась, – в анталях, кто побогаче, на подгородных дачах – прочие. Северяне – те не на дачи ездят, а исключительно «на сады». То есть домик, часто плюс банька, души отрада. Огород со всяким разным и непременно картошкой. Сад представлен у них парой-тройкой рябин, которые не любят чрезмерное соседство себе подобных, в точности как наш брат коммерсант, да еще малиной, буйной и веселой, как деревенская пьянь. Но все же «сады» – это греет иззябшего насельника стран полнощных. И я там был, мед-пиво... да. Всякий раз, когда звонишь на фабрику за Хребтом где-то, сознание выбрасывает картинку. Как компьютер, куда ушлые виртуальщики суют тебе свои рекламки с самозагрузкой.

Пока обмен веществ делает свой утренний моцион, да елозишь зубами по щетке, надо прочистить клеммы в мозгах. Они с годами срабатывают все медленней, по очереди, блоками. Хорошо посчитать, типа, рублевые тыщи, перевести в уе(девушки, у вас ценники в уях – то есть в долларах? Нет, в евро. И сколько ж

вон та модель просит еврей?), потом выявить процент навару, отнять то-се, вернуть эту сумму в родимые – негусто, но свои.

Как ни рано встаешь, все поздно. Пока на Москве ее отважные брокеры и лореры смотрят в ванное зеркало, уж доярки и дояры вернулись с первой ходки, скотник, коровий ассенизатор, «пухмелился», выкурил боломорину и шурует, матеря пеструх и зорек, а те ласково поглядывают на него огромными глазами и думают о нем: глупый, но сердце доброе...

Твоя благоверная, единовверная и соучредитель, к тому ж директриса всей этой беды, сладчайшим голоском просит банковскую лебедь «заглянуть на счетик». Ты ловишь в ее неизменно радостном спасибе тридцать вторые доли тона, это у тебя спорт такой: угадать, есть или пусто. Если есть, то сколько. Порядок цифр до первого нуля. Угадывать стал все точнее, потому супруга усложняет тебе задачу, убирает обертоны. Но слух изострен, паузы после кивка трубке тоже кое-что значат. Все кое-что значит и в нашем деле барыг и шибает. Многое, ох, многое рухнуло (и построилось) из-за тридцать вторых и шестьдесят четвертых долей.

Деньги, в массе, – музыка мира, где непрерывно мы покупаем и продаем. Все-всё. Руки, мозги, время, свободу и кабалу, щепу технологическую, лоскут мерный, вексель паленый, землеотвод, фуру пива немецкого, вагон кряжа молодецкого – или ту мелочевку, в которой ты со своей фирмочкой застрял, как воробей в кучке свежих конских яблок. Сначала все порывался прочь, в какой-то иной мир-товар, богатый наваром, чреватый богатством немереным, потерял на этом денег и времени – пропасть. Но все не такую страшную, чтобы пропасть. Вот и клюем себе овес, недопереваренный жарким чревом вселенской ярмарки. Радостен, кто смирен.

И так прошло пятнадцать с лишком лет.

Инсульт находит тебя в складском подвале. Валясь набок, ты задел штабель ящичков, и верхний, положенный неправильно, покачался над тобой, как бы раздуваемая – не сверзиться ли вниз и не прихлопнуть ли хозяина. Пока ты валился на пол, ящик колебался – и пожалел тебя, не свалился на пораженный твой, усталый кумпол. Полежите тут, отдохните, начальник, скорую уже вызвали.

Оказалось, что на коммерции это и был твой последний день.

Мысли рвутся и путаются как-то странно, и я к этой странности еще не привык. Как театр с вешалки, больница начинается с коридора, куда обычно и кладут но-вообращенных, особенно если их привозят на скорой ночью.

Возле вахтенного пюпитра мы с дядей Колей, новобранцы последних дней, были поселены в ожидании коек, освобождаемых по известным причинам: выписке здоровых – относительно, конечно, ибо наша болезнь не из тех, от которых излечиваются вполне; выписке совсем нездоровых, часто беспомощных. Баклажанов. Некоторые из придурков, сделавшись придурками полными, вдруг кидаются на всех подряд, крушат мебель. Тогда вызывается милиция, т. е. власть, в присутствии которой и возможно производить вручение или отъятие прав – на жизнь, свободу, имущество или, как в данном случае, разум. Таких из нашей респектабельной невралгии увозят в дурдом.

Мы на торном пути к сортиру и телевизору.

Скучать не дадут. Есть резон заранее мириться, что с выписками торопиться не будут, что никто не помрет, – словом, что тут кантоваться недельку.

Но надо рассуждать здраво. Тепло, кормят, лечат. Бомжу хуже, но и здесь далеко до дна. Бомж живой и бомж мертвый – разные вещи. И ему, живому, сильно завидует зэк на зоне. И так далее. То есть мы, люди, вряд ли когда осознаем себя на самой верхней и самой нижней степени-ступени земного ранжира. В самом низу нет нужды ни в чем, на самом верху – нечего желать, если такое вообще

человеку, существу жадному, возможно. А здесь и желать очень даже есть чего, и бывает хуже.

Очень бывает.

Не знаю, как это по науке называется, но по жизни полный амбец. Молния недуга часто шарахает в такое место, откуда мозги руководят тобой как телом, всеми обвислыми снастями и штопаными парусами.

И вот когда мгновенный шторм проходит, лежит человек не живой и не мертвый.

«Лучше бы умер», – думает его дом. Не думает, конечно, а так, – гонят мысль в дверь, так она в окно лезет и лезет.

На тумбочке – яблочки, мандаринки, на лице улыбка, словами чирикает, как воробей: «Ничего, ты еще молодой совсем, пенсию тебе прибавят, инвалидность дадут, путевку. Ты главное не расстраивайся». И все такое прочее.

Ты для них, для своих, сделался в своем житейском объеме не меньше, а больше, ибо хлопотен. А ведь не лежачий. Ну, это в любой день и час может случиться. А пока ты все равно занимаешь большую площадь забот, жилплощадь, наконец. А как славно бы все в доме растусовались, и малышова кроватка тютелька в тютельку умещаемся (уже замерили, прямо при тебе), если выкинуть на хрен твой письменный стол вместе с драгоценными для человечества рукописями и статьями, будто бы давшими в твоей науке новое направление.

Племя, еще младое, но очень даже знакомое, ждет не дожидается занять свою законную жизненную нишу.

Было дело – не успел вынуть пиписку из трусов, опрудил штаны изрядно. Сам вдоль себя потек противно горячей влагой до тапок. Это жизнь подразнила тебя маленьким примерчиком возможного позора. Сделалось страшно.

Так что помни, придурок: здоровье у тебя более чем богатырское. И ты – «еще молодой». Юный пенсионер, ты только второй год получаешь от казны.

В больнице хорошо думается.

Лучше, чем в библиотеке. Мысли – каталог бессонниц, та бездна, что «звезд полна», ежесекундно бомбит и долбит наши мозги жесткими своими лучами. Микронный гигант – живая молекула белка – имеет на это дело даже свое ремонтное хозяйство, ножницы дистриктазные, и ими выстригаются поврежденные части, подобно тому, как садовник удалят из кроны сухие ветки. Но эти махонькие ножницы ищут и непременно находят пару к мертвой ампутированной части и, волне здоровую, удалят и ее. Природе любя парность.

В мире царит если не лад, то счёт.

А у нас правит и вовсе порядок. В мире, где порядок, должны быть праздники. Наш праздник – студенты из мединститута. Вон они приближаются по коридору стайкой лебедей и примеривают порхающие свои шаги, гасят хи-хи, прежде чем войти к нам уже не девчонками-мальчишками, не студентами, а докторами. Собраны из палат те, кому сегодня предстоит экзамен.

Наши ответы заносятся в огромные одинаковые блокноты – не фразы наши гугнивые, а только помечаются птичками разные графы. Стало быть, наука-матушка давно исчислила нашу болезненную дурь, описала и разлиновала. Осталось лишь птичку проставить – полный ты придурок или тебя еще есть смысл полечить на казенный счет. Особо рад наш турецкоподданный – с него как человека с нашей стройки положили не брать платы за лежание здесь, а то бы он уехал к себе обратно на Босфор с Дарданеллами без штанов.

– Ну, и какой нынче год?

Самый популярный ответ – тысяча девятьсот седьмой почему-то. Ноги – они как обмылки, не ухватываются памятью. Мы с ними еще не свыклись. Я бодро от-рапортовал: «Предвыборный», – и получил зачет и согласное кивание. Родились

мы тоже в разное время – кто в тринадцатом веке, кто в четырнадцатом. Наши имена медленно, так титры фильма, возникают из глубин пораженного мозга, причем имя и отчество почему-то меняются местами.

– Где вы находитесь?

– В дурдоме, – ответил дядя Коля, хитрый прораб, потому как опять забыл номер больницы. Сказав так, выпучил глаз и рассмеялся. Среди прочих был и вопрос – видимо, замер подсознания, – когда закончилась война? Ни один не ошибся.

Живое не столько умирает, сколько умеривается, убывает. И только потом маленькой точкой, последним пикселем – гаснет.

Но прежде старость блеклостью своей, сыпью старческой гречки на лице и руках, сеткой морщин маскирует твою теплотворность и само твоё бытие, отключающее тебя от общего фона лишь на малую малость.

Чтобы вселенская хищность не увидела тебя в инфракрасном своём диапазоне.

Сквозь тебя, как сквозь пустое место, текут взгляды встречных женщин. Для них тебя уже нет. То есть в существенной части, когда-то бывшей большей половиной твоего существа, ты уже, друг мой, помре. И что, как, страшно было? Да точку невозврата ты просто не заметил даже! Так что не дергайся и не делай страшных глаз.

Скорая, выныривая с улицы, клюёт фарами, поводит светом по потолку, рисуя на нем крону тополя, шарит по палате и твоей бессоннице. Внизу небольшой шухер, щелчок широкой двери больничного лифта – вертикального мостика над Стиксом.

Привезли новенького.

А ты спи.

А еще у нас есть Гуцин.

– Мишка, говорю ему, ты по родне не из владимирских? –

– Не, с-под Астрахани.

– А то там был тоже Гуцин. Илья. Под Муромом жил давным-давно. Ильей Муромцем звался.

– Ой ты, не свисти.

И побежал на улицу покурить.

Вселялся наш Муромец шумно, хотя ничего себе такого не позволяя – просто весь был просторный, жизнеемкий. Повалился на кровать – та сразу под ним и подломилась. Приволокли другую, усиленную нестругаными досками, по всему видно – оставшимися от опалубки, с налипшими полосами бетона. Эта оказалась как раз.

Копченное сало, лещ вяленый, огурчики соленые были в обильном запасе богатыря. Он приглашал к дегустации всю нашу палату, меню же звало к зелию совершенно однозначно. На дне Мишкиного вещмешка, который и сам весь пах привлекательно, нечто тихо булькало. Но нам нельзя, тут с этим строго. Вмиг нарушитель удалялся вон не пролеченный.

Так что пока – ша.

Новоприбывшему у нас вменялось излагать историю болезни и автобиографию. Из гуцинской выделялась простая истина: сгубила не водка, а ее неполное присутствие, потому пришлось добавлять коньяком, который принес шурин, а меньше бутылки на брата мы не умеем, ну и т. д.

Примерно то же Мише пришлось рассказать нашему доктору – экзотическому фрукту родом с острова Цейлон, с испанской бородкой и волосами, прихваченными резинкой.

– И вот вы выпили... это всё и решили померить давление. И сразу вызвали скорую?

– Да вот моя скорая, – отвечивал Гуцин, разжимая рыжий кулак. На широкой ладони его покоились автомобильные ключи с брелком в виде буквы «М», обозначавшей явно не метро. Ой, блин, я же закрыть забыл!

И Мишка подходит к окну и жмет на пупку ключа. Со двора Мишкин “мерседес” преданно квакает. Теперь порядок.

– И вы с таким давлением и явными признаками инсульта, после выпивки приехали сами?

– Так не шурина же за руль сажать. Свою он уже разбил, но у него жигуль, его не жалко. Шурина вот жалко, хоть он козел и придурок. Сам, конечно, и приехал. А чё, медицина не рекомендует?

– С такими вещами медицина рекомендует лежать тихо под капельницей, писать в утку и не хлопать ластами.

Общество нашего Гуцина зауважало.

Жизнь у Гуцина, человека большого, была красно украшена победами и поражениями. Скромный механик на опытном заводе, тачавшем нестандартное, стал он мужать вместе с фирмой, еще до того, как восток и запад державы одновременно расцвел зарей сами знаете чего. Мишку допустили до акций, дали поторговать ими. Ничего не понимая в этом еврейском промысле, он наладил и снискал, обустроил загончик, площадку, куда загонялись миллиарды рублей. Их звали «арбузы», чтобы отличать от миллионов-лимонов. Потом научился заманивать обладателей лишних не-рублей. Фирма стала не фирма уж, а фирмища, корпорация. Знаменитая по самые не могу. Мишку от площадки отлучили, но не выбросили как «использованный гондон» (это цитата), а дали поработать по специальности. И Мишка катался между скважин, как бильярдный шар, налаживал ремонтную службу. Когда наладил, его опять выдавили. Это вообще политика такая.

«Пидар-расы», – заскрипел фиксатыми зубами Мишка и только тут нашел себя у телевизора, подле Елены и ее Петровича с пахучими ногами. Лене подумалось, что Мишка это на передачу про звезд ярится. А Мишка на экран не глядел почти, а глядел в себя.

Глядеть-вглядываться в себя он после инсульта стал пристально.

А еще ему вспоминалось одно и то же – тот гребаный пикник. Выбрали они, значит, полянку чистую, где тень прохлады и солнце разумно сочетал навес березовой листвы – и приступили. Мишкин шурик нырял в рюкзак и раскалывал припасенное на скатёрку, приговаривая: «Так. Белки, желтки, корнеплоды и – тут шурик разевал полную золота пасть – углеводороды. Доставалась здоровенная бутылка с ручкой и ставилась в центр. Шурик с Мишкиной подачи поездил по нефтям, стал деньги знать, пока не пил больше других.

После третьей или какой-то бутылки «углеводородов» Мишка вдруг почувствовал, что заваливается на бок, а шурикова пасть смеется и плывет прямо на него, как акула, и солнце бьет в глаза.

И сделалось Гуцину хреново.

А любил Мишка машины – самозабвенно. Он и в палату наволок кучу журналов с картинками, где не бабы, а авто. Было у него целое стадо. Жил долго в той же хрущобе, совершенно равнодушный к дому-квартире, где и бывал-то мало, жил бы и по-прежнему, да забунтила семья. Мишка уже встал в очередь на такую гоночную красавицу, какую и на Западе покупают после ожидания. Пришлось сдать бабе и ейной мамаше, то есть теще, и переехать в новую, громадную, гулкую, любимую.

Не будем жалеть Мишку, ограбленного пидорами-демократами. Он и разоренный богаче нас. А нас никто не обокрал – взять нечего.

Напротив Гущина – самый старший из нас. Он кавказец девяноста годов от роду. Поет, не размыкая губ, тихо, но все равно гортанно. Слезы блестят на его впалых щеках. Седые брови.

Старик часто поводит рукой перед собой, словно бы отдергивает занавеску с окна, которая мешает ему видеть сад в цвету, роги с вином, горы в снегу, молодую жену – кто ж его знает, что там еще может грезиться старому кавказцу?

Приходят к нему внуки-правнучки попарно, по очереди.

А ко мне жена приходит. Говорит – разделить твою грусть. Но грусть, делясь, только умножается, как плутоний в реакторе. И дважды два – делается пять с долями мандаринок. Их тебе хватит до следующего ее прихода.

Цитрусовые – это всегда в тему. Безалкогольные напитки – тоже, хотя ты просил пива-а-лучше-вина. А совсем по сердцу бы – чекушку. Но нельзя.

Я лежал без сна и глядел в потолок. Опять скорая еще от ворот протянула три хобота света. Свет поплыл по потолку и стенам крадучись или высматривая кого-то. Уж не меня ли, – подумал я. И на всякий случай закрыл глаза и затаился. И ничего плохого не случилось. Но дрема совсем пропала. Я подошел к окну и стал рассматривать ночь.

Выше крон и больничных корпусов медленно плыл красный огонек на башенном кране. Болгородок достраивается, работа не затихает и ночью. Кран нес, как коляску, бадью с раствором. На кране, картинно освещенная, чтобы даже звезды и облака могли прочитать, большая марсианская надпись: «Като».

Без сна и даже надежды заснуть лежал я и в потолок глядел. И одно обстоятельство побудило скосить левый глаз в окно, обычно заполненное облаками и листьями.

Сейчас там была в оранжевой спецовке дева в железной люльке и с каской на голове. И, между прочим, блондиночка. Люльку с чудесной девой держала на весу железная рука с надписью «Като».

Дева одной рукой держала пакет, а другой она делала мне, у окна стоящему, завлекающие знаки и прикладывала пальчик к губам.

Ну, я и подошел молча, как велено. Думаю, так же поступили б и вы, читатель.

– Я вас не разбудимши? Меня Фешей зовут. Я вас попрошу открыть окно в фойе, игде хвикус. Мне передать надо вашему новенькому. Фёкла отняла пальчик от прелестных уст и указала им на пакет. Хохляцкий говорок ее был чудесный.

Я покорно двинулся к нужному окну и отворил его, принял на руки пакет и дева. В пакете друг о дружку прозвякнули бутылки, хрустнули пластмассовые стаканчики, сразу захотелось выпить.

– А что же не через дверь? – спросил я хрипло, потому как волновался.

– А там охранник Костя. Он ревнует.

Изо тьмы, из-за фикуса уже проблескивал всем своим золотом наш турок, доставленный к нам со стройплощадки. Турок сиял цепью, браслеткой, перстнем, зубами огромными. Он лежал в коридоре на моем месте. Волосатый, с большими руками-захватами, усами, радостной улыбкой.

На предложение стакашка в виде гонорара за открывание окна я, четвертый лишний, отказался гордо, но с болью.

Мы с турком, считай, тезки, зовут его Искандер. С этим делом получилось смешно. Я сейчас расскажу.

Неунывающий дядя Коля в самые первые минуты моего здесь появления пристал банным листом – кто ты да что. Ну, я и сказал, засыпая от таблетки, – Александр, мол.

– Модератор? Диверсант?

– Не диверсант, а шпион я, отстань, твою мать.

– Вот здорово. А ты английский или американский? Скучные варианты.

– Турецкий я. Искандером меня зовут.

Ник-Нику это понравилось. Наутро продолжилась наша игра. И к завтраку уже все медсестры знали, что я, новый ночной, затем здесь, чтобы набирать в турецкий гарем. Образовалась и цена.

– Дядя Коля, ты не в долларах говори – в евро. И цена получше, и евро, я конечно извиняюсь, стоит-не падает.

Играли мы, придурки, точно, вдохновенно. Только я заснул после капельницы, как подсаживается медсестра и, глядя в сторону, тихо молвит:

– За хорошие деньги и в жены – я бы пошла... Только без обмана.

И как нагадали – через день этого турка доставляют – и на мою койку кладут. Персонал в своих халатиках слегка огибал туркову лежанку – уж больно руки у него были загибающиеся на вид, с грядками волос меж фалангами пальцев, увешанных перстнями и кольцами. Из майки клубилась шерсть, усы взъерошивались златозубой улыбкой навстречу дамам.

Наутро после девкина визита в окно я спросонок подумал, что это мне сон был такой. Эротический. Последние тучи рассеянной бури. Умираем, как автор уже докладывал, частями. Начинаем с ниже пояса. Бабы раньше, но и наш брат вскоре погасает.

В мужское ничтожество входим сперва с тревогой, потом с улыбочкой. И вот, наконец, всё. Конец – только чтобы пописать, замачивая треники, которые не для тренировок, как и кроссовки не для кросса. Мышцы провисают лианами, и ты это видишь уже и без зеркала.

Но красивых от некрасивых еще отличаешь. Ночная гостья – жаль, не к тебе – была ничего.

С утра похолодало.

Это всех обрадовало. Нет, конечно, то был сон.

Друг, почти-тезка, догнал меня, приобнял учтиво и шепнул: «Ракия еще есть».

И это было хорошо и актуально.

Итак, делаем опись наличного на сей момент.

Ты говоришь больше руками, рисуешь в воздухе колеса смыслов, такие велосипеды, которые никак не доедут до нужных слов. Патрон не влезает в патронник, и тебя клинит.

Когда слова сами собой вспоминаются, говорить их уже нет нужды: тебя, придурок, давно поняли, сейчас принесут. Организм твой делается расслабленным – кожа уже не крепость твоя, и она не держит запахов плоти, и ты делаешься вонький, даже если был сухой, как кизяк.

Слабеют кольцевые мышцы – и ты попукиваешь на ходу, и все громче, роняешь капли мочи.

Но ты еще не разеваешь рот на кусок, как черепаха, – шире, чем нужно, и виновато при этом моргая. На кусок, размоченный в чае. Это будет потом, в старости глубокой и чрезмерной. Если доживешь до такого сомнительного подарка судьбы.

Слезятся очи. Слезные озера переполнены, и по тому, из какого глаза слеза крупнее, внимательный доктор будет делать вывод, на какую сторону тебя кособочит.

Словом, ты, как водопровод в родной хрущобе, – капаешь, протекаешь.

Кашлюн-перхун – вот твоя кликуха.

Походкой ты выдаешь понимание своей вины: в самом деле, какого черта заниматься собственной никчемной персоной дефицитное жизненное пространство. Приличное таки, особенно если выразить в деньгах. Собственно, это и можно понимать как стоимость/ценность человеческой жизни. Не такая и маленькая – к счастью или сожалению, это с какой стороны смотреть.

И расходы. Проблема «фуражно-зернового баланса» в твоей, достаточно благополучной, части человечества решена. Элементарный кусок тебе не нужно пристально делить с остальными домочадцами.

Но ты угроза комфорту – расслабленный, непроизводительный, давно вышедший из репродуктивного возраста, следовательно, неинтересный матери-природе, капризный, с пуком выписанных тебе рецептов.

Хлеба не так чтобы изобилие, но достаточно.

Зрелищ – можно бы и поменьше. А тут еще выборы – совсем весело. Хлебозрелица.

Но битва за все новые и новые степени комфорта – неумолима, всемирна и лаяй. Вон раньше цари-короли жили в условно-отапливаемых помещениях, особые слуги им холодную постель грели перед отбытием ко сну, по жаре парились в одежде согласно статусу, который не снимался – ну, разве что вместе с головой. И ничего ведь, жили. Тебе в футболке жарко, а вон классические господа в тройках на все пуговицы изнаывали, держали форс перед подлым сословием.

Нет, сейчас лучше. Только не хватает одной комнаты в жилплощади, пусть хоть бы махонькой, но непроходной.

Пукай себе и живи.

Пенсию – принесут.

Раньше на деревне вонких старцев отправляли жить в баньку.

Впрочем, это здесь тебя так рассматривают, суют, как Мюнгаузена, в электронное жерло томографа, и зеленый щупалец ползет по голове, выискивает жгутики тромбированных жил. Инсульт с инфарктом – близнецы-братья.

В поликлинике – полуклинике, как говорит Петрович, – тебя рассматривать столь пристально не будут, стрелянный ты патрон. В твоей истории – пока значит-ся инсульт. Это лучше инфаркта, хотя тоже не подарок. Но сердце и у больших – маленькое, а мозги все же и у дураков, что мяч для регби, и отсеки, получившие пробоину, могут замещаться неповрежденными частями. Колоколами громкого боя стучит в виски густая кровь, нейронные цепи перестраиваются и починяются... И драгоценный товар памяти и навыков перегружается, как контрабанда, в другие места.

И шторм затихает. Всё тихо.

Перед тем, как совсем заснуть, «но не тем, холодным сном могилы», ты слышишь себя. Раньше прислушивался больше к бойлерной своего невеликого организма – к желудку да кишкам, где вечно что-то булькает, перетекает, пучится пузрырями. Но есть и кое-что поинтереснее пищеварения и даже крови. Нейроны твоих, мой милый придурок, поврежденных мозгов, спасают себя тем, что перебрасывают содержимое в другие, не пораженные места. Ты хочешь сравнить их с муравьями или пчелами, потому что эстетика труслива и ей подавай красивое. На снимках они, подлецы-нейрончики, похожи на ужасных пауков. А еще известно, что тараканы из горящего дома не выбегают заполошно, а организованно тикают с личинками потомства на спинах.

И вот, упорные, как муравьи, заботливые, как тараканы, чуткие, как пауки, малые части вселенной твоего разума, подвергнутого вторженью, бегают туда-сюда, перетаскивают молекулы разорванных мыслей, и ты слышишь это шебуршанье. Идет работа. Ты не на фронте, а в ремонте. И бодрисься: ничего, мол, мы еще повоюем. И даже запел бы «врагу, мол, не сдается наш гордый варяг, на солнце зловеще сверкая» или что-нибудь в этом роде, да слов не знаешь, петь не умеешь, да и какие на фиг песни ночью в больнице...

Сегодня – радость: выписывают. Я сдал экзамен. Я почти сразу сказал своё фио и какой нынче год, и все такое прочее, и белые лебеди почиркали в свои большие научные блокноты и остались довольны. А уж я как доволен.

Компания выходит меня проводить. Ногами, отвыкшими от башмаков, ступаю на неровный асфальт, разрезанный когтями древесных корней, и оглядываюсь и спотыкаюсь.

– Не спеши.

– Не спешу. Куда спешить, дорогая. И ты косишься на профиль жены своей. Вспоминай, самое время вспомнить ее молодым-молодую, юную, невозможную. Запомнил впечатление первого взгляда – маленькую, но это вряд ли. Она долго не была твоей – даже и подругой, и был рад-радешенек, когда тебе дозволялось проводить до дому или еще куда. И ты косился на ее спокойный профиль и соболиную бровь и жил этим счастьем до следующей встречи.

Потом жизнь нагрузла новыми смыслами, и стронулась, и понеслась, одаривая сладкими огненными мгновеньями между перегонами своей рутины. Жил – читал складки на лбу, крохотные взмахи бровей, редкие улыбки, когда ты ей нравился. И лицо ее ты всегда видел как бы силуэтом на стекле, на окне поезда.

Ей уже пришлось подносить тебе судно. Надо же – придумал кто-то: судно. Какой стыд. Вот когда номинировался в женихи, долго так и упорно, подумал бы на миг: настанет день, когда не кто-нибудь, а она, Она будет брать маленькими ручками и подставлять эту посудину?

Жизнь получилась большая. Надо надеяться, что большая она будет не сверх меры.

Ведут по тропе, которая чуть покачивается, как трап. Словно бы ты сейчас ступишь на палубу.

Это корабль? Паром?

Май 2007 – июнь 2008